

жизнь ты ведешь, Дионисий. Ведь тебе не следовало жить здесь вместе с нами в свободе и спокойствии, а там, на родине, запертым во дворце тирана, как отец, влачить свою жизнь до самой старости» (Плутарх. Следует ли старику управлять государством, 1). См.: Антология кинизма. Фрагменты сочинений кинических мыслителей / Изд. подготовил И.М. Нахов. М., 1984. С. 161. Ср. у Плутарха (Тимолеонт 15): Диоген сравнивает тирана, запертого в своем дворце, с рабом.

²⁰ «Диоген, или О тирании» (43-45). Антология кинизма. Фрагменты сочинений кинических мыслителей / Изд. подготовил И.М. Нахов. М., 1984. С. 323–324.

²¹ Braunholtz E. Die erste nichtchristliche Parabel des Barlaam und Iosaphat, ihre Herkunft und Verbreitung. Halle, 1884. S. 99–100.

²² См. статью Tantalos в энциклопедии Паули-Виссова (PWRE, Zweite Reihe, 8 Hlbd, col. 2228).

²³ Braunholtz E. Op. cit. S. 6.

А.Н. Коваль

**VARIETAS DELECTAT.
Несколько соображений,
вызванных статьей А.А. Вигасина
«Притча о страхе смертном»**

СВОЙ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ притчи «О Страшном суде» (*De timore extremi iudicii*) из сборника «Деяния римлян» (*Gesta Romanorum*, 143) Алексей Алексеевич Вигасин не случайно начинает «с конца», т. е. со старорусского перевода притчи, сделанного, в свою очередь, с польского перевода латинской версии. Тем самым читателю сразу дают понять, что непростая проблема происхождения этой притчи, если она и будет затронута, представляет в данном случае лишь побочный интерес. Притчи, сказки, басни, кочующие сюжеты – все это материал, способный довести до отчаяния исследователя, который искренне попытается определить их «родину», возможные пути и время их передачи. Алексей Алексеевич мудро старается уклониться от прямой постановки такого вопроса. Его преимущественный интерес состоит в ином: насколько несхожий смысл приобретают подобные «бродячие сюжеты» у разных народов, в разных культурах, в разные эпохи. *Varietas delectat* («Разнообразие доставляет удовольствие»): эту методологическую установку следует всячески учитывать при обсуждении доклада.

К рассмотрению латинской версии, представляющей собою довольно сложное сплетение разнородных мотивов, привлекаются прежде всего разнообразные индийские изводы притчи, а также иной материал: «Повесть о Варлааме и Иоасафе», эллиническое предание о Дамокловом мече и т. п. Столь широкий охват источников попросту неизбежен, ибо в противном случае многое в притче останется непонятным.

Из индийских изводов этой истории внимание автора привлекает прежде всего санскритская версия из «Дивьяваданы», которая далее ради краткости будет называться притчей об Ашоке /

Виташоке. К тому, что говорит об этой версии Алексей Алексеевич, можно прибавить следующее. Именно этот извод притчи представляется самым «разработанным» из всех. Главные герои носят значимые имена: Ашока (Aśoka) и Виташока (Vītaśoka). Ашока означает «Бесскорбный» (a + śoka); примерно так же можно перевести и имя Виташока: «Лишенный скорби» (vīta + śoka). Оба имени подчеркивают ключевое слово всей притчи: śoka, ‘скорбь’, ‘горе’ – и можно сказать, что в притче это слово выступает синонимом одного из осевых понятий буддизма: duḥkha, что за неимением лучшего обычно переводят как ‘страдание’. Избавление от duḥkha – главная задача буддизма вообще, точно так же как главная цель притчи – сначала дать как следует прочувствовать, что такое śoka, а потом указать путь к избавлению.

Но этим дело не исчерпывается. Ашока и Виташока, «Бесскорбный» и «Лишенный скорби» – это, конечно, синонимы, но именно что *примерно*. У этой пары братьев обнаруживается длинный ряд фольклорных и эпических аналогов: Сунда / Упасунда, Винда / Анувинда, Прометей / Эпиметей и т. д. В каждом из этих случаев один брат чем-то отличается от другого. В данном случае отличие, видимо, состоит в том, что Ашока, будучи буддистом, уже пребывает вне скорби / шоки, тогда как Виташока пока что «лишен» шоки, ибо еще не изведал в полной мере, что это такое. Собственно говоря, урок, преподанный Ашокой брату, в том и состоит, что вследствие этого урока Виташока всем своим существом осознает неотвратимость шоки и, решив стать монахом, как бы приближается к Ашоке.

Кто бы ни был редактором версии из «Дивьяваданы», ее можно признать самой удачной и самой утонченной в сравнении со всеми прочими. Например в палийской версии из «Махавамсы» эта оноματοпоэтическая игра утрачивается: там младший брат царя носит имя Тисса (Tissa), что снимает вышеописанную тему уподобления братьев. Что же касается латинской версии, то в ней король и его брат попросту безымянны. Правда, кое-что сохранилось даже в латинском изводе: так, слова tristis ‘скорбный’ и tristitia ‘скорбь’ также выступают здесь ключевыми (в первой части они встречаются четырежды). Но путь избавления

от tristitia в притче не указан, дан лишь очень слабый намек на него.

Другой источник, чрезвычайно важный для понимания латинской притчи из «Деяний римлян» – это знаменитая «Повесть о Варлааме и Иоасафе». Алексей Алексеевич справедливо отмечает, что две притчи, входящие в это сочинение, несомненно связаны с латинским изводом притчи о царе и его брате: это притчи «О трубном гласе смерти» и «О четырех ковчезцах». Действительно, в них налицо и тема ненависти / почтения к монахам, и «труба смерти», и страх Господень.

Однако в «Повести о Варлааме и Иоасафе» есть еще одна притча, которая, как представляется, самым непосредственным образом связана с латинской притчей из «Деяний римлян». Широко известная хотя бы по «Исповеди» Л.Н. Толстого, она, краткости ради, будет называться ниже притчей о Человеке над пропастью. Вкратце ее можно изложить так.

Человек, убегающий от свирепого зверя, падает в пропасть, но успевает ухватиться за дерево и держится, упершись ногами в выступ. Вдруг он замечает двух мышей, белую и черную; они безостановочно подгрызают корень дерева. В глубине пропасти он видит огнедышащего дракона, который готов его пожрать. А из выступа, в который он уперся ногами, выглядывают четыре змеиных головы. Подняв глаза, человек видит, что из ветвей дерева сочатся капли меда. Забыв о поджидающих его ужасных опасностях, обреченный на смерть предается наслаждению этим горьким медом.

Далее следует аллегорическое толкование. Зверь — образ неизбежной смерти; пропасть — мир, полный ловушек и сетей; дерево, подгрызаемое двумя мышами, — жизненный путь с чередованием дней и ночей; змеиные головы — четыре элемента, составляющие тело; огнедышащий дракон — чрево ада, готовое пожрать тех, кто предается мирским наслаждениям; капли меда — удовольствия мира сего, которыми он прельщает людей, дабы они небрегли своим спасением¹.

Возвращаясь теперь к латинской притче из «Деяний римлян» и учитывая вышесказанное, неизбежно приходишь к следующему выводу: латинский извод представляет собою контаминацию

двух (если не более!) разных притч – об Ашоке / Виташоке и о Человеке над пропастью. Это можно доказать, как говорится, с картами на руках.

Во-первых, в латинской версии король велит выкопать глубокую яму (*foveam profundam*), над которой устанавливается «столец» (*cathedra*). Эта примечательная подробность, находящая себе логичное объяснение в аллегорическом строе латинской притчи («адский колодец», *puteus infernalis*), начисто отсутствует во всех индийских изводах притчи об Ашоке / Виташоке. Зато в притче о Человеке над пропастью та бездна, над которой висит ее герой, составляет главный смысловой центр повествования.

Во-вторых, когда в «Деяниях римлян» король дает брату аллегорическое разъяснение происшедшего, он говорит: «Я, как и ты, посажен на тленный и хрупкий престол (*cathedra*), потому что <я нахожусь> в хрупком теле с четырьмя тленными ногами, т. е. из четырех элементов (*de quattor elementis*)». Латинский язык и стиль автора притчи оставляют желать лучшего; но дело не в этом, а в «четырех элементах». Вспомним, что в одном из традиционных индийских толкований притчи о Человеке над пропастью четыре ядовитые змеи с четырех сторон толкуются как *четыре элемента*². Такое же толкование принято и в славянской версии «Повести»: «четыре змеиных головы – это ничтожные и непрочные *стихии*, из которых составлено человеческое тело». Ничего подобного в притче об Ашоке / Виташоке, конечно же, нет.

Вывод ясен: автору латинской версии была известна не только притча об Ашоке / Виташоке, но и притча о Человеке над пропастью. С легкостью необыкновенной он отобрал из обеих то, что нужно было для его целей и, сообразуясь со своими литературными вкусами, составил свою контаминацию – надо сказать, не весьма уклюжую.

Притча же о Человеке над пропастью была, скорее всего, известна автору латинской версии по тому или иному варианту «Повести о Варлааме и Иоасафе», каковых в Европе циркулировало немало. Впрочем, возможны и другие источники: например, бестселлер Средневековья, «Золотая легенда» (*Legenda*

aurea) Иакова Ворáгинского (XIII в.), где эта притча также содержится.

Далее следует особо остановиться на той рассмотренной Алексеем Алексеевичем версии притчи об Ашоке / Виташоке, что вошла в «Катхасаритсагару» («Океан сказаний») Сомадевы. Здесь нет уже ни царя, ни его младшего брата; есть купец и его сын, опять же монахоненавистник. Отец решает научить сына уму-разуму и отдает на суд царю, который заставляет юношу пронести по городу сосуд, до краев наполненный маслом. Если он прольет хоть каплю – в него тут же вонзятся мечи царских слуг, неотступно за ним следующих. Как видим, налицо известные нам мотивы: мудрый старший и неразумный младший, ненависть к монахам, суровый урок, слуги с обнаженными мечами.

Но эта история вызывает в памяти «Джатаку о чаше, полной масла», входящую в палийский буддийский Канон (*Telapatta-Jātaka*: *Ekanipāta*, 96; есть русский пер. Б.А. Захарьина). «Монашеская» тема представлена в ней, так сказать, положительно: ведь ее рассказывает сам Будда своим ученикам, дабы разъяснить им, что такое настоящее сосредоточение. Там та же задача (пронести чашу с маслом под угрозой меча) возлагается на «просто» человека, «любящего жизнь»; дело еще осложняется тем, что вокруг испытуемого происходит свистопляска, в центре которой – неотразимая деревенская красавица. Итог наставления таков: «Бхиккху, который стремится к такой сосредоточенности, должен быть столь же осторожен, как человек, несущий в руках чашу с маслом. Чашу следует нести бережно, не выплескивая ни капли, – так и бхиккху пусть должным образом сосредоточит мысли свои, не расплескивая их в суетности».

Джатака о чаше с маслом упомянута здесь не ради красного словца. Она выводит рассмотренные выше примеры за пределы некоего замкнутого круг мотивов; сама принадлежа к этому кругу благодаря мотивам «монахов» и грозящего меча, она открывает пространства для новых и новых смысловых связей, новых валентностей. Намечается труднообозримый горизонт различных «ядерных историй», каковой горизонт, собственно говоря, и принято обычно называть «фольклором».

И здесь особый интерес представляет предание о Дамокловом мече, подробно рассмотренное Алексеем Алексеевичем во второй части статьи. Разительное сходство этого мотива, столь широко распространенного в античном мире, с притчей об Ашоке / Виташоке, было отмечено уже давно. Но именно это сходство неизбежно ставит вопрос о приоритете и путях передачи этой истории – вопрос, которого автор статьи в целом постарался избежать. Здесь, однако, неизбежно пришлось коснуться и этой проблемы.

Отвергая выдвинутый ранее тезис, гласящий, что эта притча была перенесена из Индии в Элладу, Алексей Алексеевич излагает многочисленные доводы в пользу средиземноморского происхождения этого мотива, восходящего, по-видимому, к мифу о Тантале. Коль скоро это так, и поскольку в Индии до «Ашокаваданы» ничего подобного не наблюдается, остается сделать осторожное предположение о том, что «маршрут» был обратным: из Эллады в Индию. Вкратце наметив возможное время и место, где могла состояться такая передача (эллинские царства в Северо-Западной Индии), Алексей Алексеевич, однако же, воздерживается от категорических утверждений на этот счет.

Если все же предположить, что дело обстояло именно так, тогда перед нами еще один весьма любопытный пример того, как усваиваются бродячие сюжеты, попадая в инокультурную среду. В данном случае мотив Дамоклова меча («Тяжела ты, шапка Мономаха!»), попав в «Ашокавадану», должен был в корне преобразиться. Как справедливо отмечает Алексей Алексеевич, в притче об Ашоке / Виташоке речь идет вовсе не о тяжести тиранической власти, а об участии любого человека в круговороте сансары. Заимствование (если это заимствование!) оказывается в корне переосмыслено в буддийском духе, откуда появляется мотив ненависти / почтения к монахам, который будет воспроизводиться практически во всех индийских вариантах притчи. Переходя из уст в уста, история преобразается все сильнее – вплоть до извода «Чаша, полная масла», где остается лишь грозный меч, а тема «монахов» сводится к личности рассказчика и его аудитории.

Хорошо известно, что фольклорные «тексты» по самой природе своей зыбки и текучи. Скажем, записи текстов русских былин и народных песен фиксируют лишь тот вариант, который был записан от вполне определенного сказителя или во вполне определенной деревне / станице, в таком-то и таком-то году. С переменной сказителя или деревни / станицы неизбежно изменится и «текст». Видимо, жанр притчи, о котором и идет речь в статье, представляет собой переход от устной словесности к письменной, и «притчеписцы» во многом руководствуются законами именно устного фольклора. С легкостью происходят не только замещения (как в «Повести о Варлааме и Иоасафе»: зверь, от которого убегает Человек – то носорог, то верблюд, то еще кто-нибудь), но и всевозможные контаминации, ярким примером которых служит как раз латинская притча из «Деяний римлян».

Подобные модификации и трансформации во многом обусловлены этническими, культурными, социальными и идеологическими различиями тех «сред», в которые попадают бродячие мотивы. В данном случае Алексей Алексеевич убедительно показывает, что один и тот же мотив, условно говоря, «Дамоклова меча»: (i) в античном мире приурочен к теме неприемлемости тиранической власти; (ii) в буддийской среде служит иллюстрацией незавидного положения человека в круговороте сансары; (iii) в христианском преломлении выступает как метафора правила *Memento mori*. При таком взгляде вопрос о «праве первоуродства» и возможных путях передачи и впрямь отходит на второй план. Зато разнообразие, которое поверхностному взгляду может показаться следствием различных искажений и ошибок прямого произвола, на поверку оказывается вполне объяснимым и закономерным. И наблюдать это разнообразие – не только усадительно (*Varietas delectat!*), но и весьма поучительно.

¹ Фольклорное происхождение этой притчи было подробно проанализировано в работе Я.В. Василькова: *Vasil'kov Ya.V. Parable of a Man, Hanging in a Tree, and Its Archaic Background // Стхапакашраддха. Сб. статей памяти Г.А. Зографа. СПб., 1995. С. 257–269.*

² Там же. С. 259.